

Илья Кукулин

“Разочарование в истории” как социокультурный диагноз 1960-1970-х годов: Андрей Синявский и Аркадий Белинков*

Александр Федуте

При обсуждении влияния русского формализма на методологию исследований российских гуманитариев следующих поколений в первую очередь обсуждается восприятие формалистской традиции в работах московско-тартуских структуралистов¹. Другой вариант интерпретации формализма предложили филологи, с 1982 года (и до сих пор) проводящие в латвийском городе Резекне Тыняновские чтения, а ранее, в 1977-м, выпустившие тщательно подготовленный том работ Юрия Тынянова с обширными комментариями – Александр и Мариэтта Чулаковы и Евгений Тоддес.

Оба эти направления можно было бы назвать неоакадемическими по их социальному самосознанию и формам институционализации. Кажется, до сих пор не прослежено методологическое влияние, которое работы формалистов вообще и Виктора Шкловского в особенности оказали на литературоведение другого типа, которое можно было бы назвать *антиакадемическим*. К его представителям можно отнести Андрея Синявского и Аркадия Белинкова. Их работы не образуют отдельного направления в российской критике или филологии. Но оба они, как и сам Шкловский, сочетали научные и сугубо эссеистические формы интерпретации феноменов культуры и сознательно подрывали в своих работах устоявшийся академический дискурс. Тем не менее, в отличие от Шкловского, оба они на протяжении всей жизни были последовательными политическими и эстетическими нонконформистами. Как в их работах была преобразована формалистская традиция, я и попытаюсь проследить в этой статье.

1. Ответ на кризис телеологизма в истории литературы

Среди наиболее известных фраз Андрея Синявского, написанных им от своего лица или от имени Абрама Терца, наряду с характеристикой Пушкина, вбе-

* Благодарю за ценные обсуждения Александра Эткина, Александра Даниэля, Бориса Гаспарова, Лазаря Флейшмана, Юрия Левина и Елену Михайлик.

¹ См. об этом, например: Brown 1974; Миллз Тодд 2011.

жавшего в поэзию “на тоненьких эротических ножках”², есть и слова о “России-Матери, России-Суке”, которые впоследствии яростно осудил Солженицын:

[Эмиграция евреев –] ...это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом бегство из России. Значит, пришлось солоно. Значит – допекли. Кто-то бедствует, ищет к чему бы русскому приткнуться в этом раздольном, бездушном, чужеземном море. Но все бегут и бегут. Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором, – дитя!..³

Кэтрин Теймер-Непомнящи по поводу этой статьи, отметив ключевую роль метафоры “писатель – преступник”, писала:

Исходя из того, что всякая подлинная литература преступна и находится под запретом, Синявский-Терц развивал метафору писателя-парии, козла отпущения, виновного во всех напастях России⁴.

Предназначенная для первого номера “Континента” – органа писателей-эмигрантов “третьей волны” – статья эта, вероятно, была задумана как своего рода манифест. В ней проводилась мысль о том, что *русская культура переживает распад, который на самом деле является новым ее созданием*. За пределы СССР бегут евреи и переправляются “отреченные”, “неправильные” тексты, но этот процесс означает и неуклонное освобождение русской литературы, причем не только современной, но и классической, от государственного контроля. Вывоз за границу личной библиотеки, состоявшей преимущественно из выпедших в СССР книг, Синявский истолковывал как *спасение* их авторов.

² Возможно, именно эту фразу своего учителя по Школе-студии МХАТ процитировал В. Высоцкий в песне из аудиоспектакля *Алиса в Стране Чудес* (1973) в описании Страны Чудес как мира эстетической выявленности этических категорий: “Добро и Зло в Стране чудес, как и везде, встречаются, / Но только здесь они живут на разных берегах, / Здесь по дорогам разные истории скитаются / И бегают фантазии на тоненьких ногах” (выделено мной. – И.К.). *Прогулки с Пушкиным* вышли отдельным изданием в 1975 году; неизвестно, мог ли Высоцкий в 1973 году быть знакомым с завершенным в 1968-м текстом *Прогулок...*, поэтому пока трудно сказать, аллюзия ли это или простое совпадение.

³ Цит. по изд.: Синявский 2003а: 200. Весь этот возглас напоминает полемическое опровержение финала стихотворения Д.С. Мережковского *Возвращение* (1909) – к которому, возможно, текстуально и восходит (помимо фразы из письма Блока к Чуковскому, о которой речь пойдет дальше): “И все ж тоска неодолимая / К тебе [к России. – И.К.] влечет: прими, прости. / Не ты ль одна у нас родимая? / Нам больше некуда идти. // Так, во грехе тобою зачатые, / Должны с тобою погибать / Мы, дети, матерью проклятые / И проклинающие мать” (Мережковский 2000: 527-528, здесь с. 528).

⁴ Теймер-Непомнящая 2011: 628.

Я их увозил, эти книги, на свой страх и риск, не зная, что их ждет, ничего не обещая. Я только радовался, глядя на пачку коричневых книжек, что вместе с нами, поджав ушки, уезжает сам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин...⁵

Непонятно, однако, как согласуется с этой позицией возглас о “России-Суке”, вызвавший гнев Солженицына и других “почвенников”. Исследователи не раз сопоставляли ее со знаменитой фразой Блока о России – “чушке”, которая “слопала своего поросенка”⁶. Но тогда следует предположить, что публицистическое обличение, высказанное в статье Синявского, основано на разочаровании, сопоставимом по силе с утратой Блоком веры в русскую революцию. Рискну предположить, что фраза о “России-суке”, хотя и была сказана о евреях, в действительности была порождена кризисом веры Синявского в осмысленность истории культуры.

Утрируя, можно сказать, что фраза о “суке” написана критиком, некогда верившим в эволюционную последовательность литературного процесса и развития культуры в целом и не согласного с тем, что советская власть такую последовательность разрушила. Слова о “России-Суке” были высказаны в рамках авторской позиции, которая к тому моменту уже была преодолена в ходе эволюции Синявского-Терца и постепенно сменялась новой, впервые намеченной в статье 1957 года *Что такое социалистический реализм?* В ней Синявский вступил в резкую, но выдержанную в иронически-игровом тоне полемику с телеологическим пониманием истории:

...в советской литературе, все более явственно переходившей на классицистический путь, сам термин “классицизм” не утвердился. Должно быть, он смущал своей простотой и вызывал в памяти нежелательные аналогии, которые, как нам почему-то казалось, унижали наше достоинство. Мы предпочли скромно назваться соц. реалистами, скрыв под этим псевдонимом свое настоящее имя. Но печать классицизма, яркая или мутная, заметна на подавляющем большинстве наших произведений, независимо от того плохи они или хороши⁷.

По-видимому, Синявский почувствовал необходимость вернуться к старой позиции при написании статьи 1974 года, чтобы обличить Россию, которая предала свою литературу и своих евреев – так же, как история культуры, казалось, предала литераторов-нонконформистов.

Эмигрантские критики “первой волны” обвинили Синявского в русофобии – подобно тому, как за несколько лет до того они обрушились с аналогичными на-

⁵ Синявский 2003а: 204.

⁶ Из письма К.И. Чуковскому от 26 мая 1921 года (впервые было опубликовано в 1924 г.). Цит. по: Блок 1963, VIII: 537.

⁷ Синявский 2003б: 169.

падками на Аркадия Белинкова. По-видимому, это культурное отторжение в обоих случаях имеет сходные причины. Среди них – общие, но при этом достаточно новаторские жанровые и методологические установки, характерные для Белинкова и Синявского. Задача этой статьи – выявление этих общих установок.

Сам Синявский называл свой метод – или, точнее, метод Терца – “фантастическим литературоведением”, но уклонялся от обсуждения его филологических и историко-культурных задач. Кэтрин Теймер-Непомнящи определила метод Синявского как “трансгрессивный”⁸, основанный на проблематизации культурных табу и разрушении границ между литературными жанрами – критикой, эссеистикой, прозой и научным исследованием. Однако можно описать эту трансгрессию, взяв за точку отсчета не литературно-эссеистические, временами нарочито эпатажные произведения Терца-Синявского, а его же филологические и историко-культурные работы, которые он продолжал публиковать и в эмиграции. Такой анализ предприняла Вера Калмыкова – и пришла к выводу о том, что Синявский “...не отказывается от субъективизма, свойственного художнику, и вводит его в свой научный инструментарий”⁹.

Возникает вопрос – как и зачем Синявский производил такое совмещение? Решал ли он при “эссеизации” своих статей не только жизнестроительские и литературные, но и исследовательские задачи, позволявшие ему по-новому понимать историю культуры?

Вероятно, он полагал, что в истории культуры есть сюжеты, которые могут быть поняты только с помощью “фантастического” – иначе говоря, личностно окрашенного – исследования.

Наталья Белинкова, вдова писателя и критика, назвала жанр, в котором писал ее муж, “литературоведением в прозе”, и заметила, что сам автор *Гибели и сдачи русского интеллигента* сближал свои литературоведческие работы с лирикой¹⁰, – мне это жанровое определение кажется еще более точным.

Произведения Синявского и Белинкова иногда соединяются под общим названием “диссидентская критика” (впрочем, к этому же направлению в истории русской критики некоторые исследователи относят еще и Анатолия Якобсона). Однако, помимо несогласия с советской идеологией и совмещения научного и эссеистического дискурса в литературоведческих работах, обоих авторов объединяла еще одна общая черта: Синявский и Белинков последовательно использовали результаты, полученные методами научной филологии, для решения экзистенциальных задач.

⁸ Теймер-Непомнящая 2011: 627.

⁹ Калмыкова 2009: 140.

¹⁰ Белинкова 2008а: 8. Более подробно анализировал формальные особенности книги Белинкова *Юрий Тынянов*, сближающие ее с циклом лирических произведений, Юлий Даниэль в своих письмах из лагеря (Даниэль 2000: 111).

Они знали друг о друге и были знакомы лично, хотя и не близко. Синявский встречался с Белинковым в 1960-е, интересовался новостями о нем в письмах, которые писал из лагеря своей жене, Марии Розановой, вспоминал о нем в статье *Литературный процесс в России* и посвятил его памяти эссе, написанное в 1975 году¹¹. В нем он замечал, что “совсем не разделял взгляды или идеи”¹² Белинкова, но требует уважения к его памяти и публикации его оставшихся в рукописи книг – очевидно, имея в виду работу *Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеши*, которую тогда не соглашалось принять к печати ни одно издательство (этот труд вышел только в следующем, 1976 году). В русской зарубежной периодике, в ту пору выражавшей взгляды в первую очередь эмигрантов “первой” и “второй” волн, было опубликовано несколько уничижительных статей о Белинкове, в котором умерший писатель обвинялся в “отсутствии положительной программы”. “Белинков с его “отрицанием” не обманет. [...] Белинков – надежен. Белинков умер, сделал, заработал”¹³, – возражал на это Синявский.

Белинков много раз высказывался в поддержку арестованного Синявского – и до эмиграции, и после побега в США¹⁴. Белинков был всего на четыре года старше Синявского, но сами они, по-видимому, считали себя людьми разных поколений, так как Белинков отсидел в лагере в “сталинское” время, а Синявский – уже в “брежневское”. Оба писателя были москвичами из интеллигентных семей. Во время войны, в отличие от Юлиа Даниэля, на фронте ни один из них не был: Синявский служил радистом на аэродроме, а страдавший пороком сердца Белинков был назначен в комиссию по оценке ущерба, нанесенного нацистскими войсками советским памятникам истории и культуры (тогда он чуть не погиб, подорвавшись на mine под Новым Иерусалимом). В одном из последних публичных выступлений Белинков, рассказывая о том, как после освобождения из лагеря пытался взять псевдоним Белинкович, подчеркивающий его еврейство, но редакция (или цензурные органы) не разрешила ему публиковаться под такой фамилией, сравнил себя с Синявским, взявшим себе еврейское литературное имя Терц¹⁵.

Концепции истории культуры, сложившиеся у Синявского и Белинкова – по-видимому, под влиянием лагерного опыта –, имеют много общего. Оба они сочли, что в условиях все более заметной эрозии советской идеологии и кризиса представлений об эволюционном, последовательном характере исторического процесса литературовед должен вновь собрать воедино историю культуры и вернуть ей утраченный смысл, переписывая ее с сугубо личной точки зрения. Однако та картина истории культуры, которая получится в результате, будет не универсальной, а персональной.

¹¹ Синявский 2003в: 382-388.

¹² Там же: 383.

¹³ Там же: 386.

¹⁴ Белинков 2003а [1967]: 267; 2003б [1969]: 515; 2003в [1970]: 558.

¹⁵ Белинков 2003в [1970]: 568.

Для построения такой “лично возвращенной” истории и Синявскому, и Белинскому было необходимо соединение научных и литературных типов письма: стилистические приемы, характерные для лирической прозы, позволяли выразить индивидуальное переживание истории, а научная методология позволяла аналитически интерпретировать литературные произведения и другие явления культуры. Наиболее же нетривиальным жестом двух литературоведов стало встраивание этих интерпретаций в личную, нарочито персонализированную картину истории литературы.

2. Персонализация истории культуры

Насколько можно судить по мемуарам, многие советские интеллигенты-гуманитарии, вошедшие во “взрослую” жизнь и профессионализовавшиеся в 1910-1920-х годах, начиная с предвоенного десятилетия воспринимали историю культуры как высшую форму смысловой связности явлений, не подчиненных идеологической иерархизации – находившихся в *равноправных отношениях*. Такая история культуры была ретроспективной утопией и поэтому могла выступать как противоядие от тоталитарной идеологии – как сталинского национал-большевизма¹⁶, так и более поздних изводов советской доктрины.

Тоталитарные идеологемы были призваны представить в первую очередь культурную генеалогию “нынешней” власти – той, что существовала в момент выхода очередной статьи или произнесения очередной речи. Мифологизированная история культуры, выстроенная советскими интеллигентами “через голову” идеологем, представляла литературу и искусство как мир универсальных и даже предельных ценностей, вынесенный за пределы исторической телеологии – несмотря на то, что левые интеллигенты конца XIX и XX веков описывали свои биографии по преимуществу в телеологических категориях¹⁷. Внетелеологическая история культуры была гарантией самосознания и идентичности советского интеллигента – или nonконформиста, или просто того или той, кто не хотел бы полностью отождествляться с действиями “партии и правительства”. Однако даже nonконформисты были готовы считать социальную историю все же телеологической, и не стремились развенчать прогрессистскую версию истории в целом. Синявский эксплицитно оспорил ее в статье 1957 года *Что такое социалистический реализм*. История культуры и история общества предстала в его работе полной разрывов и фальсификаций, которая не гарантирует ничьей идентичности. Статья демонстрирует психологическую раздвоенность повествователя: он говорит “изнутри” советского сознания¹⁸ и одновременно извне его.

¹⁶ См. подробнее: Бранденбергер 2009.

¹⁷ См. об этом телеологизме: Паперно 2004.

¹⁸ См., например: “Что вы смеетесь, сволочи? Что вы тычете своими холеными ногтями в комья крови и грязи, облепившие наши пиджаки и мундиры? Вы говорите, что это

Сравнивая советское сознание с православным (“дореволюционным”), Синявский-Терц полупародийно-полусерьезно доказывает их родство – поскольку и то, и другое основано на подчинении “я” надличному началу. По его утверждению, в XIX веке творцы культуры, склонные к сомнению и агностицизму, противостояли хранителям глубокой, нерассуждающей веры, а советские писатели времен “цветущего сталинизма” претендовали на объединение этих двух полярных начал.

Может быть, за все сто лет [XIX века] по-настоящему верили в Бога лишь Чернышевский и Победоносцев. Да еще крепко верили неизвестное число мужиков и баб. Но эти еще не творили ни истории, ни культуры. Культуру творила кучка грустных скептиков, которые жаждали Бога, но лишь потому, что Бога у них не было.

Ну а Достоевский, а Лев Толстой, а тысячи других богоискателей – от народников до Мережковского, затянувшего свои поиски чуть не до середины следующего столетия? Полагаю, искать – это значит не иметь. Тот, кто имеет, тот, кто по-настоящему верует, – не ищет. Чего ему искать, когда все ясно и нужно только следовать за Богом? Бога не находят, Бог сам нас – и на нас – находит, и, когда Он на нас нашел, мы перестаем искать, мы начинаем действовать – по Его Воле¹⁹.

Терц утверждал, что после доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и публичного разоблачения сталинизма советская идеология безнадежно дискредитирована, поэтому дальнейшее развитие русской литературы не может быть обеспечено никаким “большим” стилем:

Утрачивая веру, мы не утратили восторга перед происходящими на наших глазах метаморфозами бога, перед чудовищной перистальтикой его кишок – мозговых извилин. Мы не знаем, куда идти, но, поняв, что делать нечего, начинаем думать, строить догадки, предполагать. Может быть, мы придумаем что-нибудь удивительное. Но это уже не будет социалистическим реализмом²⁰.

Разумеется, это признание было отчасти игровым. Судя по воспоминаниям знавших Синявского людей и его автобиографическому роману *Спокойной ночи*, надежда на действенность “большого” стиля покинула Синявского задолго до XX съезда КПСС (если вообще когда-нибудь у него была). Тем не менее критик и после этого представлял себе развитие культуры как эволюционное – связанное с развитием традиций модернистской метафорики, гротеска, фантазмагории. И

не коммунизм, что мы ушли в сторону и находимся дальше от коммунизма, чем были в начале? Ну, а где ваше царство божие? Покажите его! Где свободная личность обещанного вами сверхчеловека?” (Синявский 2003б: 147).

¹⁹ Синявский 2003б: 156.

²⁰ Там же: 175.

все же в произведениях “нового” Синяевского подспудно вызревал новый образ истории культуры, в котором эволюционная связь явлений была заменена максимальной интенсивностью их переживания и вовлеченностью в личное отношение к каждому из них.

На мотив телесной “пережитости” истины в творчестве Синяевского указал А. Эткинд: “...именно благодаря тому, что розановские сравнения удивляют и шокируют читателя, воспринятые у него идеи [согласно Синяевскому] ‘не проносятся в голове, но переживаются’. Они ‘обрастают как бы физическим телом’, вызывают ‘пронзительное физическое ощущение’”²¹. Однако Синяевский писал о телесности истины, не только анализируя сочинения Розанова, но и, например, размышляя об истории книги как культурного феномена:

К ряду оживающих прутиков, кукол, древних идолов мы рискнули бы прибавить – книгу. Больше, чем что-либо в нашем предметном мире, она хочет быть живой. [...] Мы можем сунуть ее в портфель, спрятать под подушку, прижать к сердцу, швырнуть в угол [...] и в нашей власти в любое мгновение открыть ее и войти в иное, на наше пространство, *отождествившись с телом, которое мы держим в руках...* (Синяевский 2004, III: 30-31, курсив мой).

Эта “телесность” книги парадоксальным образом помещает ее словно бы на границу культуры.

Синяевского вообще, видимо, очень интересовали феномены, которые проблематизировали границу культуры и не-культуры: произведения Розанова, народные секты, наивная живопись. Двойственность их культурного статуса сопоставима с парадоксальностью “телесно пережитых” и “спасенных” личным усилием произведений, которые одновременно легитимированы культурной традицией и иронически остранены и высмеяны индивидуализированным и игровым отношением автора-трикстера – Абрама Терца:

Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно²².

Аналогичную задачу восстановления истории культуры – уже не как “общей” для всех эволюции, а как совокупности лично пережитых событий – поставил себе и Белинков. Возможно, ощущение кризиса истории как идеологического “проекта”²³ возникло у него во время Второй мировой войны, когда он входил в комиссию по изучению ущерба, нанесенного нацистскими оккупантами историческим памятникам. Оно ясно выражено в написанной в лагере повести *Россия*

²¹ Эткинд 2010.

²² Терц 1992, II: 436.

²³ Ср. о сатирически интерпретированном образе истории как проекта в *Истории одного города* М.Е. Салтыкова-Щедрина: Вайль, Генис 1990: 140.

и *Черт* (1950). В прологе этого сочинения история России XIX-XX вв. предстает как последовательность бессмысленных гражданских и внешних войн, неотличимых от природных катаклизмов. Однако во второй части повести при “молекулярном” (один из ключевых терминов эстетики Белинкова²⁴) рассмотрении повседневной советской жизни на смену эпическому коловращению вселенских бедствий приходит подробно описанная борьба двух зол – соблазна, исходящего от Черта, и трусости Симочки Сексуаловой, которая не желает (или неспособна?) принимать никаких ответственных решений. Финальная победа Симочки над Чертом иллюстрирует мысль, к которой Белинков позже возвращался регулярно: сочетание безответственности и прагматически-расчетливого отношения к власти позволяет советскому человеку ускользнуть от любых этических обязательств. В данном случае – даже от обязательств перед нечистой силой: героиню нельзя заставить ни раскаяться, ни соблазниться.

В монологе обольщающего Симочку Черта высказано понимание истории как повторяющегося абсурда. Насколько можно судить из других, более поздних произведений Белинкова, Чёрт (во многом продолжающий традиции образа, созданного Достоевским в *Братьях Карамазовых*) описывает тот образ истории, которому Белинков стремился противостоять.

Можете в свободное время просмотреть лозунги Катона перед 3-й Пунической войной (“Карфаген должен быть разрушен”. – *П.К.*) и сравнить их с рядом других лозунгов, которые произносили во время Второй мировой войны, и вы убедитесь, что ничего не изменилось. Если не посмотреть на год издания, то вообще можно спутать. Нет, милочка, на свете ничего не меняется. Особенно категории. Например, человеческая пошлость. Вот вам, к примеру, почему-то так же жалко отдавать свою душу, хотя бы и после смерти, как во времена войн гвельфов с гибеллинами. А? Разве не так? В сущности, изменилось только то, что вы имеете возможность сообщить по телефону, вместо того, чтобы бегать самой, о том, что душа готова, можете получить. Но, в сущности, милочка, не в этом сущность²⁵.

В неосуществленном плане книги о поэзии Анны Ахматовой Белинков противопоставлял советскую историю как неподлинную и локальную – “большой” и подлинной европейской истории, начинающейся с древней Греции²⁶. В 1950-1960-е годы в его работах все чаще появлялись утверждения о том, что “мы стали наследниками самого худшего исторического варианта”²⁷. В 1961 году Белинков подарил писателю, литературоведу и бывшему однокурснику (по Литературному

²⁴ См.: Белинков 2008г: 272-273.

²⁵ Белинков 2000: 161.

²⁶ Белинков 2008д: 246-248. .

²⁷ Белинков 2008е: 154.

институту) и “однодельнику” (так же, как и он, арестованному в 1944 году за литературное творчество) Генриху Горчакову и его жене книгу *Юрий Тынянов* с дарственной надписью, в которой было выражено представление о разочаровании в истории как проекте:

Это не монография об умершем писателе, это воспоминания о себе, о нас, о надеждах, которые раздавила лошадь истории.

Мы были счастливыми людьми: у нас была молодость, мы верили, что наша судьба подлежит переделке и что мы сами застучим по ней топором.

Потом выяснилось, что всё это неправильно.

Но, увы, опытность утешает только тогда, когда больше ничего не остается.

Мы любим вас нежно и сильно. 8.02.61²⁸.

Манифестом “разочарования в истории” стала статья Белинкова *Страна рабов, страна господ* (1967), в которой сказано: никакой политической переворот в абсолютистской стране, а именно – в России, не может привести к демократии, так как не влечет за собой изменения общественного сознания.

Первым в послереволюционной литературе выражением подобного разочарования стало начало *Смерти Вазир-Мухтара* Тынянова. Имплицитно содержащееся в этих абзацах сопоставление финала декабристского восстания и итогов октябрьской революции не свидетельствовала о разочаровании автора романа в революционной утопии (Тынянов, судя по мемуарам современников, никогда не был ей особенно очарован), а выражала его мнение о гибели интеллигентского коллективного энтузиазма как социально-психологической силы.

Аналогично, Синявский и Белинков полагали, что проект истории культуры как легитимирующей силы, полученный их современниками по наследству от предшествующих поколений русской интеллигенции, более не действителен. Характерно, что в повести *Россия и Черт* Белинков “встык” издевательски монтирует ссылки на два источника:

...Из специальных трудов по этим вопросам можем указать на “Историю русской интеллигенции” проф. Иванова-Разумника. Изд. Современные проблемы. 1912 г. М.-П. и сборник “Постановления партии и правительства по вопросам идеологии”. М., 1948 г. Партиздат²⁹.

²⁸ Горчаков 1992. Цит. по Интернет-републикации на персональном сайте Г. Горчакова: <http://www.gorchakov.org/publitzistika_belinkov.html>.

²⁹ Белинков 2000: 146. Работы с указанным названием у Р.В. Иванова-Разумника нет. Белинков, который писал в лагере и цитировал по памяти, сконтаминировал название двух его сочинений – статьи *Что такое интеллигенция?* (1907) и книги *История русской общественной мысли*, которая пользовалась популярностью в предреволюционный период

3. Травма лагеря и критика исторической рациональности

Связь личного переосмысления литературы с травмой лагеря проанализировал Александр Эткинд³⁰, предположивший: “Что-то было... в лагерном опыте, что заставляло перечитывать и переописывать классиков”. По мнению исследователя, Синявский написал *Прогулки с Пушкиным* и аналогичные этой книге по жанру и задачам произведения в результате осмысления психологической травмы, которой для него стало пребывание в лагере. Эткинд сопоставляет Синявского с его многолетним – впоследствии – оппонентом Александром Солженицыным: первым произведением Солженицына после выхода из заключения, написанным еще в ссылке в Ташкенте, стала статья *Протеревши глаза* (1954)³¹, – о пьесе Грибоедова *Горе от ума* – в которой автор разрывает с более чем столетней традицией интерпретации Чацкого как главного положительного героя пьесы и считает самым интересным и достойным персонажем комедии Молчалина, которого квалифицирует как русского Жюльена Сореля³².

Синявский начинал как яркий литературовед и критик относительно традиционного типа (известный, в частности, своими “новомировскими” статьями) и одновременно – под именем Абрама Терца – как прозаик-авангардист, явственно наследующий традициям русского модернизма 1920-1930-х годов – позднего Андрея Белого, Бориса Пильняка, Всеволода Иванова, Артема Веселого. Впрочем, уже в 1950-х он начал писать и “авангардистскую критику” – по-видимому, первой законченной работой в этом жанре стала статья *Что такое социалистический реализм?* Но в лагере и после него (1966-1971) этот тип письма становится у Терца господствующим, как если бы авангардная проза и “объективистское”, с прикусом социологизма литературоведение, соединившись, дали принципиально новый жанр:

(с 1907 г. – четыре изд.). Для Иванова-Разумника “...история русской общественной мысли есть история русской интеллигенции”. “*Интеллигенция есть этически – антимещанская, социологически внесловная, внеклассовая, преемственная группа, характеризующаяся творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности*” (Цит. по изд.: Иванов-Разумник 1997: 3, 25).

³⁰ Эткинд 2010.

³¹ Наиболее доступная републикация: Солженицын 1999.

³² Отвлекаясь от основного сюжета статьи, скажу, что нападки Солженицына на “революционера” Чацкого и апология Молчалина неожиданно напоминают парадоксалистские прочтения классики в творчестве столь ценимого Синявским В.В. Розанова. Ср., например, известный фрагмент из “второго короба” *Опавших листьев* “Вот и все ‘полные собрания сочинений’ Герцена, Белинского и ‘шестидесятников’...”, в которой философ, развенчивая российских “революционных демократов”, вызывающе противопоставляет им в качестве положительного – “и даже более либерального” – идеала А.А. Аракчеева и его бывшего адъютанта П.А. Клейнмихеля.

Опять возвращаясь к сказке. Для нее может оказаться полезной фрагментарность Мандельштама. Принцип – кроить и клеить. Звонкие ножницы. Вольный воздух: куда хочу, туда и хожу. Помогут изразцы, из которых складывается сказка. Один изразец треснул, другой выветрился. Осталась какая-нибудь сена о змие. Повторяется. Все дело в языке, в повторениях. Абсурд. На чем держится? Возможно, на припоминании сказанного, на стремлении выразиться поточнее, и все время отвлекаясь, увязать, и спохватываясь, – опять о змие, о бабе-яге.

Форма речи – забвение. И усилие вспомнить, ничем не кончающееся³³.

В письмах (I: 23) Синявский обещает жене “работая здесь [т.е. в лагере], не потерять квалификации критика”. Однако работы, написанные в лагере и после освобождения, свидетельствуют о том, что писатель не только не потерял старую “квалификацию”, но и приобрел другую, новую.

Подобно Синявскому, и Белинков начинал – до ареста – как блистательный прозаик и поэт, не просто продолжавший традиции русского модернизма, а форсировавший их, интенсифицировавший свойственную модернизму проблематизацию субъекта и метафорическую насыщенность письма. Хотя его литературным учителем был Виктор Шкловский, по радикальности письмо раннего романа *Черновик чувств* (1943) напоминает не столько *Зов, или Письма не о любви* (которые, видимо, стали для Белинкова одновременно образцом и поводом для полемики), сколько прозу Мандельштама. Стихи Белинкова не сохранились, кроме вставных стихотворений в романе *Черновик чувств*.

Белинков называл свой стиль “необарокко”, – по-видимому, считая наиболее яркой чертой своего стиля внимание к экспрессивной, имеющей самостоятельное значение, метафорически значимой детали. Тогда же, когда Белинков работал над романом, 21 апреля 1943 года, Илья Эренбург, выступая на творческом вечере Семена Гудзенко (учившегося в том же Литинституте, где и Белинков)³⁴ счел, что в его поэзии “есть то, что есть в музыке Шостаковича [...] что является смесью барокко с реализмом”.

Эренбург в своих произведениях многократно упоминал архитектуру барокко, часто иронически (эссе *Максимилиан Волошин*, до 1922; *Необычайные приключения Хулио Хуренито...*, 1922; стихотворение *В кастильском нищенском селенье...*, 1938 или 1939), и в одном случае – с безусловным одобрением – в разделе мемуаров *Люди, годы, жизнь* (VI, ч. 1), в котором он описывает свои впечатления от поездок по Восточной Европе в 1945-1947 годах, например: “...есть нечто общее между поэзией Гонгоры, Марино или Грифнуса и теми глиняными Христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерно-

³³ Синявский 2004, III: 64. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся непосредственно в тексте с указанием тома и страницы.

³⁴ Эренбург 1966: 96. Ср. также: Аннинский 1985: 20.

сти человеческого страдания”³⁵. Вероятно, в середине 1940-х термин “барокко” приобрел для Эренбурга смысл “слова-сигнала”, указывающего на способность искусства передавать травматический опыт. Вопрос о том, кто на кого повлиял в пропаганде барокко как нового слова в искусстве – Эренбург на Белинкова или наоборот – по-видимому, заслуживает отдельного исследования.

В лагере Белинков продолжал писать прозу и пьесы; они были изъяты при обыске и стали основанием для нового судебного процесса, по итогам которого арестант был приговорен в 1951 году еще к одному 25-летнему сроку. Часть рукописей, к счастью, сохранилась в архиве КГБ, эти тексты были возвращены вдове писателя в 1995 году и впоследствии опубликованы³⁶. После освобождения Белинков писал только поп-fiction, в первую очередь литературоведческие работы – сначала с историко-социологическим (*Юрий Тынянов*), а потом с политико-публицистическим уклоном (*Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Олеши*, статьи о Солженицыне). Критик и прозаик Александр Гольдштейн в главе *Отщепенский социарт Белинкова* книги *Расставание с Нарциссом* указал на то, что стилистика *Юрия Олеси* имеет авангардистский характер (“на полях” позволю себе заметить, что позиция Гольдштейна в русской критике и литературоведении представляется мне развитием культурно-исторической позиции Синявского и Белинкова, которая проанализирована выше). Согласно Гольдштейну, Белинков, используя биографию Олеси как “мотивировку” (по Шкловскому), обратил против советского “новояза” всю ту агрессию, на которой была основана советская идеологическая риторика. “Обращенное письмо” Белинкова стало гротескно-пародийным языком с раблезиански-подробными перечислениями, гиперболическими немотивированными подробностями и внезапными тематическими перебивками³⁷.

...Общество восхищалось правительством, правительство тем, кто это делал, не жалея себя, объявляло благодарность.

Тут сошлись все: члены Государственного совета и девицы с веселой набережной реки Охты, пристально и неумолимо изучающие жизнь писатели и становые приставы, дамы, чарующие своей неотразимой красотой и густопородистые кобылы Клайдесдальского завода, сильфиды из балета “Пламя Парижа” и вросшие в свои чугунные бороды нигилисты³⁸.

³⁵ Эренбург 1990, III: 91-92.

³⁶ Названия некоторых уничтоженных текстов (среди них – еще два романа) Н. Белинкова-Яблокова называет в своем предисловии к книге *Распря с веком. В два голоса* (Белинкова 2008а).

³⁷ Гольдштейн 1997: 248-249.

³⁸ Особенности стиля Белинкова особенно заметны при сравнении с пассажем, который, вероятно, стал источником процитированного фрагмента: “Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и

И все прокляли их (декабристов, о которых шла речь в предыдущих абзацах. – И.К.). И правильно сделали. Потому что они хотели свободы. А это для нашей родины хуже, чем жрать битое стекло. Хочешь свободу? Поезжай на острова Капингамаранги, Океания, 1°14' северной широты, 155°17' восточной долготы. Только мы тебя немножко проверим на станции Чоп, 48°28' северной широты, 22°15' восточной долготы.

(*Страна рабов, страна господ* [1967]³⁹)

Стилистически это “раблезианство” продолжало публицистику М.Е. Салтыкова-Щедрина и отчасти Д.И. Писарева (а не Герцена, с которым сравнивал Белинкова С.Я. Маршак⁴⁰). С другой стороны, бесконечные перечни в *Олеше* явственно предвосхищают – и тут я согласен с Гольдштейном – соц-артистские работы в духе *Фундаментального лексикона* Г. Брускина. Это предвосхищение не случайно: начиная с лагерных произведений (повесть *Россия и Чёрт*, неоконченная пьеса *Роль труда в превращении человека в обезьяну*) Белинков рассматривал советское слово и советский тип литературного письма как семантически и эмоционально пустые и рассчитанные в основном на манипулятивное использование. Если вспомнить работу М.М. Бахтина о Рабле, то возможно построить сплошную генеалогию, идущую от Рабле до советского соц-арта (на этой “шкале” поместятся и Щедрин, и некоторые сочинения Писарева) – историю письма, иронически оспаривающего авторитарное слово, которое *pretendует на то, чтобы быть высшим выражением рациональности*. Овнешняя ироническая изображение такой мнимой рациональности представит ее как совокупность абсурдных перечней и классификаций.

А. Эткин показал, что в творчестве Синявского большую роль играло изображение советского как монструозного – даже не столько этически, сколько эстетически.

Поэтика Синявского чудовищна, но он считал таковой саму историю, – историю своего времени, точнее, времени своей молодости, “зрелого, позднего и цветущего сталинизма”⁴¹.

Чудовищное – эстетическое инобытие рационализма. Для Синявского и Белинкова авторитарная рациональность была воплощена в советской телеоло-

не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий” (Ахматова 2002, VI: 275). Об ахматовской пушкинистике Белинков собирался писать особо в неосуществленной книге о поэте (Белинков 2008а: 231-232).

³⁹ Белинков 1987: 182-183. Координаты атолла Капингамаранги А. Белинков указывает с простительной неточностью (правильно – 1°04'00" северной широты, 154°47'00" восточной долготы).

⁴⁰ По свидетельству Б. Сарнова: Сарнов 1989.

⁴¹ Эткина 2010.

гической модели истории. Изображаемое ими монструозное – психологическая изнанка советского мифа об истории как о логически неуклонном шествии человечества (с Советским Союзом во главе) к коммунизму. Это особенно ясно видно в первых главах повести Белинкова *Россия и Черт*, аллегорически изображающих историю революции 1917 года:

Народы многих стран и разных вер и наречий, плодясь, обступали со всех сторон громадную яму Земли (Россию. – *И.К.*) и под напором вечно немолчного Заката подступали к самому краю, громко требуя у самодержца и его верноподанных жизненного пространства, рынков сбыта и крупных концессий.

[...] ...пришла шайка беглых каторжников и атаман шайки заграбастал всю яму с ее живностью, детенышами живности, рыбой, хлебом, зверем в лесах, изящными танцами в музеях, солдатами в окопах, проститутками и интеллигентами в борделях и университетах. Именно с этой точки как раз идет начало гибели мира и последних вздрагиваний околевающего человечества.

В яму, спотыкаясь, спускались солдаты 14 держав, обладавших самыми учеными тезисами, и больше не возвращались на поверхность к уровню моря, убитые каторжниками. А кто возвращался, требовал, наученный каторжниками, у себя дома, чтоб тоже делали такую яму⁴².

4. Белинков, Снявский и остранение

И до ареста, и в заключении Белинков считал себя продолжателем филологического дела русских формалистов – или, как он называл их вслед за самими формалистами, “морфологической школы”⁴³. Его работы вплоть до книги *Юрий Тынянов* ориентированы на включение в формалистский тип исследования социологических факторов и фигуры читателя, в чем продолжают движение, начатое “младшими формалистами” в 1920-х годах⁴⁴.

Белинков был учеником одного из центральных теоретиков формализма – Шкловского, его самая большая по объему книга написана о другой важнейшей фигуре формалистского движения – Тынянове⁴⁵; характерно, что в переписке Снявский и Розанова использовали для зашифрованного названия Белинкова имя Тынянова. Белинков на протяжении многих лет обвинял Шкловского в конформизме, но старался поддерживать с ним хотя бы дипломатические отношения – пока их взгляды на окружающую действительность не разошлись

⁴² Белинков 2000: 138.

⁴³ Белинков 2008ж: 80.

⁴⁴ См. об этом, например: Савицкий 2008.

⁴⁵ В третьем издании книги о Тынянове, которое не было выпущено в свет из-за бегства Белинкова за границу, должно было быть около тысячи страниц.

окончательно⁴⁶. По-видимому, в 1960-е годы Белинков находился во все более напряженных, или, пользуясь психоаналитической терминологией – “эдиповских”, отношениях с формалистами вообще и Шкловским в особенности.

Белинков поддерживал контакты с тартускими учеными, которые уже в конце 1960-х многими воспринимались как продолжатели дела формалистов, и выступал на первой конференции по Блоку, организованной З.Г. Минц в 1967 году, с большим докладом на основе фрагмента из книги *Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша*. Правда, после этого доклада Минц расстроилась и перестала общаться с Белинковым (их пытался помирить Д.Е. Максимов⁴⁷). Выступление оказалось политически очень резким (Белинков говорил о моральном подавлении интеллигенции в СССР), и Минц сочла поступок Белинкова безответственным: по ее мнению, доклад мог навлечь неприятности не столько лично на Ю.М. Лотмана, сколько на все более многочисленные научные проекты, формировавшиеся вокруг тартуской кафедры русской литературы⁴⁸.

В статьях и книгах Белинкова есть блестящие аналитические этюды, выполненные в русле формалистической традиции, но с сильным социологическим уклоном. Эта “постформалистическая” установка заметна и в его последней книге. См., например, анализ поэмы Хлебникова *Зверинец* и ее сопоставление с рассказом Ю.К. Олеси о зоопарке⁴⁹. Есть в этой книге и пассажи, которые могут быть расценены как использование формалистского метода и одновременно пародия на язык Шкловского: “...бывают такие литературные эпохи, когда художника вынуждают нарушать стилистическое единство, и тогда он вводит металлолом в контекст, подчиненный иному стилистическому закону” (металлоломом в этой главе издевательски называются советские языковые клише). Однако традиция, идущая от формалистов к структуралистам, по-видимому, была Белинкову в целом чужда.

В работах Синявского и на уровне стилистики, и в методе интерпретации тоже очевидны отсылки к формалистским работам – например: “Интересно повернуть вывески в плоскость геральдического образа, цехового знака...” (I: 47). Больше всего Синявский обращается к идеям все того же Шкловского, особенно к его концепции “воскрешения слова” и оживления образа, и использует скрытые цитаты из работ “раскаявшегося” формалиста – особенно в письмах из лагеря. “Вещь, чтобы ее почувствовать заново, должна стать непонятной, на нее нужно наткнуться, как лбом об стену, и тогда она, может быть, оживет” (I: 49). Это почти дословный – но со значимым смысловым смещением – пересказ знаменитого фрагмента статьи Шкловского *Искусство как прием*:

⁴⁶ Белинкова 2008б.

⁴⁷ *Письмо Д.Е. Максимова З.Г. Минц от 1 июля 1967 г.* (Егоров 2004, см. <<http://www.zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=215>>).

⁴⁸ Б.М. Гаспаров, частное письмо автору статьи от 4 мая 2011 г.

⁴⁹ Белинков 1997: 378-380.

... для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы сделать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимаемый процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; *искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве не важно.* [...]

Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим. Поэтому мы не можем ничего сказать о ней⁵⁰.

Синявский настаивает на необходимости “оживления” не восприятия действительности – к чему призывал Шкловский – а *самой вещи*. Шкловский называет “вещью” и материальный предмет, и произведение искусства, Синявский – именно материальный артефакт. Эту смену акцентов можно расценить как скрытый спор с социальным конструктивизмом Шкловского: согласно теоретику формализма, важен процесс изготовления предмета или создания литературного текста, согласно Синявскому – выход “сделанного” из-под контроля его создателя⁵¹.

Синявский и в лагере, и после освобождения интересовался структурализмом и следил за работами московско-тартуских филологов, но читал их выборочно: насколько можно судить по письмам, в первую очередь его интересовали работы Вяч.Вс. Иванова о мифе – возможно, не только потому, что Иванов написал о его прозе положительное экспертное заключение для процесса, но и потому, что для Синявского – и как прозаика, и как теоретика культуры – были очень значимы переходы мифологического в рациональное и обратно.

И Белинкова, и Синявского в наследии формалистов, кажется, в наибольшей степени интересовал обоснованный Шкловским принцип остранения. Для исследователей, принадлежавших к московско-тартуской семиотической школе, гораздо большее значение имели не разрывы, а связность – текста, культурного события, исторического процесса. Белинкову и Синявскому были важнее разрывы. Остранение нужно было им обоим для реализации их программ интеллектуального и эстетического нонконформизма – пусть и несходных между собой: оно позволяло увидеть советские дискурсы и образы официальной пропаганды как эстетически гротескные персонажи, напоминающие о модернистской неомифологической литературе.

⁵⁰ Цит. по изд.: Шкловский 1925. Курсив В.Б. Шкловского. О других примерах влияния Шкловского на Синявского см.: Жолковский 2011.

⁵¹ Ср. сочувственное цитирование в предисловии Синявского к стихам Пастернака строк Маяковского из трагедии *Владимир Маяковский*: “И вдруг / все вещи / кинулись, / раздирая голос, / скидывать лохмотья изношенных имен” (Синявский 1965: 27).

“[Лев] Толстой научился у Вольтера... применять остранение в качестве средства делегитимации, работающего на любом уровне – политическом, социальном, религиозном” (Карло Гинзбург⁵²). Синявский и Белинков продолжали именно эту линию в использовании остранения. Парадоксальность ситуации заключается в том, что оба эти писателя при всей их неконформистском политическом пафосе опирались не только на традицию Вольтера, Толстого и их литературных продолжателей, но и на результаты исследований Шкловского, который интерпретировал остранение эстетически, а не политически⁵³. Фраза Синявского о “стилистических расхождениях” с советской властью глубоко саркастична: в его случае эти “расхождения”, будучи эстетическими по своей репрезентации, демонстрировали отказ от согласия с официальным дискурсом и тем самым были по смыслу политическими. Но на другом уровне высказывание Синявского было совершенно серьезным – поскольку политический неконформизм был вторичным эффектом его письма, первичной же задачей было изображение мира, в котором нет “правильной” точки зрения, а привычное человеческое восприятие может быть радикально деконструировано (см. особенно рассказ *Пхени*, где мотивировкой деконструкции является описание человеческой жизни с точки зрения разумного инопланетного растения). В таком понимании остранения Синявский напоминает скорее Свифта, чем Толстого, который полагал, что человек может посмотреть на мир незамутненным взглядом и этот взгляд будет “правильным”⁵⁴.

В письмах Синявского из лагеря можно выделить три сквозных мотива: прохождения через смерть, проблематизация личной телесной, физической идентичности (отсюда – напряженные размышления над культурным смыслом зеркал) и искусства как магического преобразования мира или, по крайней мере, пересоздания психики автора и читателя. На первый взгляд, подобный взгляд на искусство возвращает нас к обсуждению свойственных “серебряному веку” представлений о “поэзии как волшебстве” или “мудрости Пушкина” (собственно, книгу *Прогулки с Пушкиным* критики неоднократно сравнивали с произведением М. Гершензона). Однако Синявский, насколько можно судить по его поэтике остранения, ставил перед собой несколько другую задачу, чем авторы “серебряного века” – и, если не отдавал себе полного отчета в ее историко-культурной специфичности, то интуитивно хорошо ее чувствовал.

⁵² Гинзбург 2006.

⁵³ Об историко-политических истоках и импликациях теории остранения см., помимо процитированной статьи К. Гинзбурга, также работы Ильи Калинина: Калинин 2005; 2009.

⁵⁴ О переключках между Свифтом и Синявским см.: Жолковский 2011.

5. Два пути выхода из кризиса традиционной филологии

И Аркадий Белинков, и Андрей Синявский были оппонентами московско-тартуской структурно-семиотической школы, но действовали в одном интеллектуальном пространстве с ними. Белинков и Синявский думали над теми же проблемами, которые интересовали и структуралистов, но совершенно иначе представляли себе фигуру того исследователя, который мог бы решить эти проблемы. Расхождение Синявского и Белинкова с авторами московско-тартуской семиотической школы состояло прежде всего в идее литературоведения как одинокого героического усилия, а не коллективной работы, как это было у “тартусцев”⁵⁵. Московско-тартуские исследователи исходили из предположения, что история культуры – связная структура, которая своей смысловой насыщенностью отменяет одномерную и агрессивную советскую идеологию. Одним из главных обоснований этой точки зрения стала знаменитая статья-манифест *Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма*⁵⁶. Структуралисты тоже полагали, что традиционно-интеллигентское представление об истории культуры как легитимирующей силе потерпело моральный крах. Но они верили в то, что история культуры как проект неиерархической связи явлений может быть обоснована заново средствами современной им науки. Поэтому структурализм стал интеллектуальной основой уже не для глухой обороны от репрессивного режима, а для “развинчивания” и историзации его идеологии (о чем М.Л. Гаспаров писал в статье *Лотман и марксизм*⁵⁷). Работа по исследованию истории культуры как связной структуры мыслилась как совместная и не предполагала, что восстановить эту связность может только героический одиночка.

Тем не менее аналогичная установка на личное усилие все больше проступала в деятельности самого Лотмана и заметна в его поздних трудах – *Беседы по истории русской культуры* (ср. также телеверсию, где Лотман на глазах у зрителя *разыгрывает и воплощает* решение задачи по приданию смысла истории), а также в поздней лотмановской трилогии, общие мотивы которой анализировал Сергей Зенкин⁵⁸. Заметна эта позиция и в сочинениях Натана Эйдельмана, который принадлежал к тому же поколению, что и Лотман, хотя и не имел отношения к тартуско-московской школе.

⁵⁵ См. некоторые сведения о социальном функционировании московско-тартуской школы семиотики в кн. Waldstein 2008. Оговорю, что не со всеми ее выводами я могу согласиться.

⁵⁶ Левин и др. 1974. Ю. Левин писал, что во время написания этой статьи в кругу единомышленников она имела шуточное название *Долой!* См.: “Новое литературное обозрение”, 1993, 3, с. 43.

⁵⁷ Гаспаров 1996.

⁵⁸ Зенкин 2010: 325-328.

Именно проблематизация истории культуры как неразрывной цепи преемственности и вызвала особенно раздражительное отношение к Синявскому и Белинкову критиков “первой” и “второй” (Н. Ульянов) волн эмиграции. Для эмигрантов, которые, в отличие от этих двух критиков, считали себя прямыми продолжателями традиций предреволюционной интеллигенции, восприятие себя как наследников нескольких поколений русской культуры было определяющим и давало основу для идентичности⁵⁹. И Синявский, и Белинков освобождали себя и своих единомышленников от обязанности быть почтительными наследниками⁶⁰. В их произведениях рождалось новое, свободное отношение к культуре, в котором со стоической или пессимистической картиной истории сочетались экзистенциальная напряженность и отчетливо выраженное игровое начало. Именно оно позволило Синявскому написать о “тоненьких эротических ножках”, а Белинкову – об острове Капингамаранги как о месте свободы.

Литература

- Аннинский 1985: А.А. Аннинский, *Михаил Луконин*, в: М. Луконин, *Стихотворения и поэмы*, сост., подг. текста и примеч. Н.Г. Захарченко, Л. 1985, с. 5-46.
- Ахматова 2002: А. Ахматова, *Слово о Пушкине* [1961], в: Она же, *Собрание сочинений*, сост., подг. текста и комм. С.А. Коваленко, VI, М. 2002, с. 274-276.
- Белинков 1987: А.В. Белинков, *Страна рабов, страна господ*, “Время и мы”, 1987, 95, с. 165-206.
- Белинков 1997: А.В. Белинков, *Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеши*, предисл. М. Чудаковой, М. 1997 (изд. 2-е, сокр.).
- Белинков 2000: А.В. Белинков, *Россия и Черт: Роман. Рассказы. Пьеса. Допросы*, сост. и публикация Н.В. Белинковой-Яблоковой, СПб. 2000.

⁵⁹ См., например, статью: Ульянов 2002 (первая публикация 1952).

⁶⁰ Л. Флейшман при обсуждении этой статьи заметил, что еще одним фактором, повлиявшим на такую позицию Белинкова и Синявского, было влияние русского пореволюционного авангарда, прежде всего ЛЕФа. Замечу, что эстетика ЛЕФа повлияла прежде всего на Синявского, а для Белинкова была явно более значимой поэтика конструктивизма, прежде всего – Сельвинского. Белинков занимался в семинаре Сельвинского в Литературном институте и с уважением отзывался о нем в романе *Черновик чувств* (Белинков 2000: 57), а после освобождения планировал написать о нем скептическую книгу, которая развенчивала бы былого кумира (план-конспект книги *Спадают краски ветхой чешуей*, названный по строке из стихотворения А.С. Пушкина *Возрождение* (1819?) см.: Белинков 2008з: 312-316).

- Белинков 2008а: А.В. Белинков, *Александр Солженицын и больные ракового корпуса* [1967], в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 260-269.
- Белинков 2008б: А.В. Белинков, *Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть* [1969], в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 508-516.
- Белинков 2008в: А.В. Белинков, *Мы получим другую литературу* [1970], в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 598-570.
- Белинков 2008г: А.В. Белинков, *Молекулярный уровень исследований Солженицына. Текст несостоявшегося выступления, приложенный к стенограмме обсуждения “Ракового корпуса” А. Солженицына в СП СССР 17 ноября 1966 года*, в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 270-274.
- Белинков 2008д: А.В. Белинков, *Судьба Анны Ахматовой, или Победа Анны Ахматовой*, в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 229-250.
- Белинков 2008е: А.В. Белинков, *“Декабристы” в “Современнике”. Выбранные места из подготовительных записей для выступления перед актерами театра (перед постановкой пьесы А.Г. Зорина)*, в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 152-154.
- Белинков 2008ж: А.В. Белинков, *Задачи по химии и алгебре стиха*, в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 73-82.
- Белинков 2008з: А.В. Белинков, *Спадают краски ветхой чешуей*, в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 312-316.
- Белинкова 2008а: Н.В. Белинкова, *Пролог*, в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 5-9.
- Белинкова 2008б: Н.В. Белинкова, *Учителя и ученик*, в: А.В. Белинков, Н.В. Белинкова, *Распря с веком (В два голоса)*, М. 2008, с. 275-286.
- Блок 1963: А.А. Блок, *Собрание сочинений*, I-VIII, М. 1963.
- Бранденбергер 2009: Д.Л. Бранденбергер, *Национал-большевизм: Сталинская массовая культура и формирование национального самосознания (1931-1956)*, пер. с англ. Н. Алешинной, Л. Высоцкого, СПб. 2009.
- Вайль, Генис 1990: П. Вайль, А. Генис, *Игрушечные люди. Салтыков-Щедрин*, в: Они же, *Родная речь*, предисл. А. Синявского, Терафлу (NJ) 1990, с. 137-145.
- Гаспаров 1996: М.Л. Гаспаров, *Лотман и марксизм*, “Новое литературное обозрение”, 1996, 19, с. 7-13.

- Гинзбург 2006: К. Гинзбург, *Остранение: предыстория одного литературного приема*, пер. с итал. С.А. Козлова, "Новое литературное обозрение", 2006, 80, с. 9-29.
- Гольдштейн 1997: А. Гольдштейн, *Расставание с Нарциссом: Опыт поминальной риторики*, М. 1997.
- Горчаков 1992: Г. Горчаков, *Век-волкодав и Аркадий Белинков*, "Русская мысль" (Париж), 1992, 6 ноября (№ 3953), с. 11-12; 13 ноября (№ 3954), с. 11; 20 ноября (№ 3955), с. 11-12; 27 ноября (№ 3956), с. 11-12.
- Даниэль 2000: Ю. Даниэль, *Письмо четырнадцатое*, в: Он же, *Я все сбивалось на литературу. Письма из заключения. Стихи*, М. 2000, с. 109-118.
- Егоров 2004: Б.Ф. Егоров (публ., подг. текста, вст. заметка и примеч.), *Из переписки Д.Е. Максимова с Ю.М. Лотманом и З.Г. Мицу*, "Звезда", 2004, 12 <<http://www.zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=215>>.
- Жолковский 2011: А. Жолковский, "ТХенц" на randevu: *ню, меню, дежавю*, "Новое литературное обозрение", 2011, 109, с. 210-228.
- Зенкин 2010: С. Зенкин, *Теория как история (Заметки о теории, 22)*, "Новое литературное обозрение", 2010, 105, с. 325-333.
- Иванов-Разумник 1997: [Р.В.] Иванов-Разумник, *История русской общественной мысли*, I-III, М. 1997.
- Калмыкова 2009: В.В. Калмыкова, *Эстетические воззрения А.Д. Сивявского*, "Вопросы философии", 2009, 7, с. 135-152.
- Калинин 2005: И.А. Калинин, *Вернуть: вещи, платье, мебель, жену и страх войны. Виктор Шкловский между новым бытом и теорией остранения*, в: *Nähe Schaffen, Abstand Halten. Zur Geschichte der Intimität in der Russischen Kultur*, Wien-München 2005 (= "Wiener Slawistischer Almanach", Sbd. 62), с. 351-387.
- Калинин 2009: И.А. Калинин, *Прием остранения как опыт возвышенного (от поэтики памяти к поэтике литературы)*, "Новое литературное обозрение", 2009, 95, с. 39-58.
- Левин и др. 1974: Ю.И. Левин, Д.М. Сегал, Р.Д. Тименчик, В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян, *Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма*, "Russian Literature", 1974, 7-8, с. 47-82.
- Мережковский 2000: Д.С. Мережковский, *Стихотворения и поэмы*, вст. ст., сост., подг. текста и примеч. К.А. Кумпан, СПб. 2000.
- Мнлалз Тоад 2011: У. Мнлалз Тоад III, *Открытия и прорывы советской теории литературы в постсталинскую эпоху*, в: Е. Добренко, Г. Тиханов (под ред.), *История русской литературной критики советской и постсоветской эпох*, М. 2011, с. 571-607.

- Паперно 2004: И. Паперно, *Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель*, “Новое литературное обозрение”, 2004, 68, с. 102-128.
- Савицкий 2008: С. Савицкий, “Живая литература фактов”: спор А. Гинзбург и Б. Бухштаба о “Лирическом отступлении” Н. Асеева, “Новое литературное обозрение”, 2008, 89, с. 8-37.
- Сарнов 1989: Б. Сарнов, *С художниками это бывает*, “Вопросы литературы”, 1989, 12, с. 245-255.
- Синявский 1965: А. Синявский, *Поэзия Пастернака*, в: Б. Пастернак, *Стихотворения и поэмы*, М.-Л. 1965, с. 9-62.
- Синявский 2003а: А.Д. Синявский, *Литературный процесс в России*, в: Он же, *Литературный процесс в России. Литературно-критические работы разных лет*, М. 2003, с. 176-204.
- Синявский 2003б: А.Д. Синявский, *Что такое социалистический реализм*, в: Он же, *Литературный процесс в России. Литературно-критические работы разных лет*, М. 2003, с. 139-175.
- Синявский 2003в: А.Д. Синявский, *Памяти павших: Аркадий Белников*, в: Он же, *Литературный процесс в России. Литературно-критические работы разных лет*, М. 2003, с. 382-388.
- Синявский 2004: А. Синявский, *Письмо девяносто восьмое*, в: Он же, *127 писем о любви*, сост., подг. текста и публикация М.В. Розановой, I-III, М. 2004, с. 58-66.
- Солженицын 1999: А. Солженицын, *Протеревши глаза (“Горе от ума” глазами зека)*, в: Он же, *Протеревши глаза*, М. 1999, с. 345-366.
- Теймер-Непомнящая 2011: К. Теймер-Непомнящая, *Литературная критика русской эмиграции после Второй мировой войны*, пер. с англ. Л. Оборина, в: *История русской литературной критики советской и постсоветской эпох*, М. 2011, с. 608-634.
- Терц 1992: А. Терц, *Прогулки с Пушкиным*, в: Он же, *Собрание сочинений*, I, М. 1992, с. 339-436.
- Ульянов 2002: Н.И. Ульянов, *Внуки Лескова*, в: О.А. Коростелев, Н.Г. Мельников (сост., преамбулы, примеч.), *Критика русского зарубежья*, II, М. 2002, с. 279-298 (первая публикация “Возрождение”, 1952, 2, с. 159-171).
- Шкловский 1925: В.Б. Шкловский, *О теории прозы*, М. 1925.
- Эренбург 1966: И. Эренбург, *О поэте Гудзенко (Из выступления на творческом вечере С. Гудзенко 21 апреля 1943 г.)*, публ. В.А. Мильман и Л.И. Соловейчика, “Литературное наследство”, LXXVIII, 1966, 1, с. 95-96.

- Эренбург 2005: И. Эренбург, *Люди, годы, жизнь*, под ред. Б. Фрезинского, I-III, М. 2005.
- ЭТКИНД 2010: А. ЭТКИНД, *Седло Синявского: лагерная критика в культурной истории советского периода*, "Новое литературное обозрение", CI, 2010, с. 280-303.
- Brown 1974: E.J. Brown, *The Formalist Contribution*, "Russian Review", XXXIII, 1974, 3, с. 243-258.
- Waldstein 2008: M. Waldstein, *The Soviet Empire of Signs: A History of the Tartu School of Semiotics*, Saarbrücken 2008.

Abstract

Илья Кукулин

"Delusion about History" as a Socio-Cultural Diagnosis of the 1960-1970s: Andrej Sinjavskij and Arkadij Belinkov

Arkadij Belinkov (1921-1970) and Andrej Sinjavskij (1925-1997) were not members of one literary movement, but their works are often considered jointly as samples of "dissident criticism". In this article I hope to argue that they can both be interpreted as successors to the Russian Formalism methodology of the 1960s. But they used the results of philological interpretations to solve the existential problem – i.e. the self-identification of a subject in the historical process. It was necessary for Belinkov and Sinjavskij because they both rejected the Soviet (and Hegelian) image of history as the teleologically aimed stream. Belinkov and Sinjavskij independently invented the new – personal and existential – justification of the history of culture.

Keywords

Arkadij Belinkov, Andrej Sinjavskij, Russian Formalism